

АЛЕКСАНДР
ПИСАРЕВ

Темные антропологии и история во тьме:

обзор российских
интеллектуальных журналов



Александр Александрович Писарев (р. 1988) – редактор, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН.

В этот обзор попали преимущественно критические по тональности номера – критические одновременно по отношению к действительности и способам говорить о ней. «Логос» выпустил двухтомник о «темной антропологии» – маргиналиях современной антропологии и антропологических маргиналиях неолиберальной и постколониальной современности. «Ab Imperio» исследует исторические попытки заставить государство работать и обращается к обсуждению ответственности исторической дисциплины за аргументы, выдвинутые в пользу идущей войны.

**ОБЗОР
ЖУРНАЛОВ**



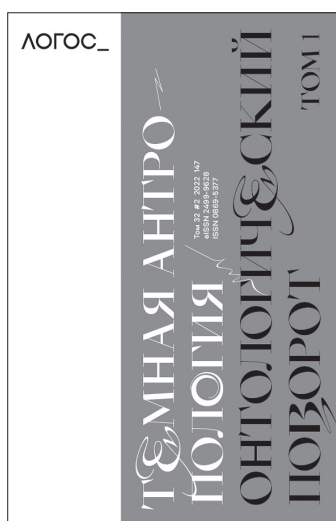
В первом томе «Логоса» (2022. № 2) обстоятельно обсуждается онтологический поворот в антропологии, его ограничения и возможное развитие. Это выражение появилось в лекциях антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру, прочитанных в Кембридже в 1998 году (в STS, заметим, это произошло несколько раньше и по иным мотивам), поэтому биографическое интервью с ним и открывает дискуссию. (Непосредственно номер открывает обзор Шерри Ортнер, но его лучше прочесть потом в качестве введения во второй том (2022. № 3).)

Онтологический поворот, по де Кастру, предполагал сравнение онтологических предпосылок разных антропологии, прежде всего современных и немодерных, или западных, в противовес господствовавшей в те годы эпистемологизации антропологии: изучать не только знания и классификации, но и *метафизики* разных народов (с. 67–68). Он выдвигает неожиданный тезис: туземная мысль должна пониматься как метафизическая в том смысле, что она озабочена метафизическими проблемами и вселенной. «Метафизика – один из способов жизнедеятельности всех человеческих и, кто знает, возможно, и нечеловеческих существ» (с. 70). Занимаясь метафизикой, антропология сама становится метафизикой, даже этнометафизикой.

Из интервью читатель также узнает о связях и расхождениях между антропологическими онтологиями и современными философскими проектами, об истоках центральной идеи де Кастру, – перспективизма – и о недооцененном позднем Леви-Строссе, перешедшем от структур к трансформациям (с. 85).

Подробнее тезис об антропологии как метафизике и его противопоставление эпистемологической рамке раскрывается уже в статье де Кастру. Примечательно, что, по его мнению, задача антропологии не объяснение другого мира, а умножение

нашего собственного путем признания возможностей мысли другого (с. 184). Онтологический поворот – «действие по предоставлению пространства для другого, [...] обязательство позволить туземцам, кем бы они ни были, выражаясь онтологически, делать это по-своему» (с. 183). Поскольку мы ограничены собственными онтологическими допущениями, задача антропологии – создавать условия для онтологического самоопределения другого, который является возможностью, угрозой или обещанием другого *мира*, содержащегося в его перспективе.



Мартин Холбрад вступает в полемику с де Кастру и оспаривает тезис об антропологии как онтологии или метафизике. Он обращает внимание на то, что антропология не объясняет и не интерпретирует – она должна *концептуализировать* (с. 133–136). Это предполагает особую чувствительность, своего рода интеллектуальную эстетику. Этапы и особенности процедуры Холбрад демонстрирует, анализируя примеры из работ Мосса и Эванса-Притчарда. В ходе концептуализации контингентность этнографических материалов превращается в формальный язык концептуальных отношений и разделений,



который *выражает* контингентное, а не обобщает. Морфологичность этой процедуры (с. 139), ее внимание к «контурам» концептуальных отношений и ее экспрессивность сближают антропологию с *искусством* (с. 162).

Тему перспективизма подхватывают Евгений Кучинов и Денис Шалагинов, обогащая эту идею техническим.

«Множественность точек зрения [...] дополняется гаптической множественностью линий технического действия. [...] Желательно понять точку зрения в качестве частного случая гаптического действия или технезы [...] техника – это действительно диакритическая черта, отличающая человека, черта раздвоения между культурой и природами, но проходит она *по всем видам*, не только *по homo sapiens*. То есть: все живые существа (а ограничений на *одушевление*, как мы знаем, в перспективизме нет) используют *одну и ту же технику*, но в *разных природах*» (с. 117–118).

Обсуждение фигуры техники в антропологии продолжает Денис Сивков. Он разбирает ряд версий онтологического поворота с точки зрения их способности объяснить то, что происходит в индигенном коллективе человеческих и нечеловеческих существ вследствие необратимых (пост)-колониальных *технологических изменений*. Персоналистские варианты анимизма Филиппа Дескола и де Кастру, опирающиеся на допущение существования личности, понимают коллектив как «не-контактный хронотоп, в котором время застыло, а пространство непроницаемо; здесь нет места колониальным товарам и технологическим новшествам западного мира» (с. 206) или же проникновение технологий остается незамеченным. Проекты Эдуардо Кона и Мортена Педерсена также наталкиваются на серьезные ограничения. Сивков показывает, что возможный выход из этой проблемы связан с переносом акцента на отношения

в реляционных онтологиях Нурит Бёрд-Дэвид и Элизабет Повинелли (с. 218).

Прежде чем переходить к следующему номеру журнала, стоит прочесть открывающий текущий том обзор Шерри Ортнер. Эта статья хорошо вводит в проблематику, которая скрывается за заявленной в теме двухтомника «темнотой» (пожалуй, это наиболее осмысленный вариант интерпретации этой ставшей чересчур расхожей метафоры) и задает контекст материалам второго тома. Ортнер пишет о трех направлениях в антропологии, развивавшихся на фоне подъема *тьмы* неолиберализма с 1980-х как экономической и гвернаментальной формации, обусловившей усиление расслоения среди граждан и стран. *Темные антропологии*, находящиеся под влиянием прежде всего Маркса и Фуко, занимаются изучением неприглядных сторон жизни в неолиберальных и колониальных обществах – неравенством, государственным насилием, безработицей, прекарностью, сокращением социальной политики, депрессией, ощущением безнадежности, апроприацией, навязыванием культурных норм, – а также структурных и исторических условий, которые их производят (с. 6–8).

Антропологии блага возникли во многом как сопротивление повороту к темным антропологиям (с. 22). В этих «позитивных антропологиях» тематизируются возможности, проекты и практики благой или счастливой жизни во тьме неолиберализма. Они включают как «более психологическую/медицинскую версию с ее акцентом на счастье и/или благополучии (и стремлении к ним), так и более моральную/этическую версию с ее акцентом на добродетели и благе (и стремлении к ним)» (с. 25).

Наконец, из антропологии блага вырастают *антропологии критики и сопротивления*, а также *активистская антропология*, набирающая популярность (с. 33). В этой связи необходимо различать работы,

где автор участвует в изучаемом противостоянии, и те, где он выражает солидарность с одной из сторон, но не участвует напрямую (с. 28). Ортнер выделяет три области этих антропологий: об условиях неравенства, власти и насилия в различных частях света, о переосмыслении капитализма как системы, о социальных движениях неоллиберального общества. Для многих из этих проектов важен поворот к *практикам*, инициированный Бурдьё, поскольку он порождает потенциал преобразования: «если мы создаем мир посредством социальной практики, то сможем разобрать его и переделать посредством социальной практики» (с. 31).

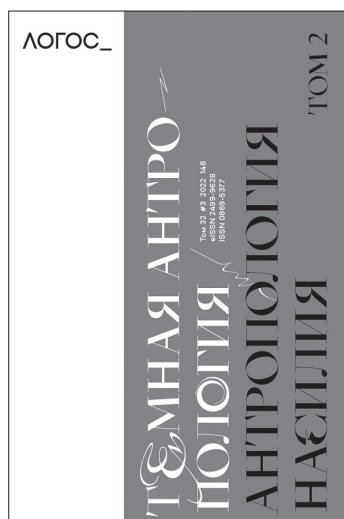
Собственно темным антропологиям и посвящен следующий номер «Логоса» (2022. № 3), сосредоточенный на теме насилия. Номер готовился в 2018–2021 годах, поэтому не отражает той конкретной остроты, которую приобрел вопрос о насилии сегодня. В редакционном предисловии подчеркивается:

«Выработанные в мирных условиях концепты проходят такую же проверку кризисом, как люди, техника и политические институты. Концепты, необходимые для интерпретации проблемы насилия, не являются исключением и станут вызовом для нашей методологии. Что будут значить наши прежние идеи о насилии *inter armae?*» (с. 29).

В этом смысле в текущих условиях номер о насилии стоит воспринимать не только как сумму результатов исследований и размышлений, но и как набор инструментов проблематизации и видения, а также тезисов для испытания на конкретном и настоящем материале ради его понимания.

Обсуждение открывается критикой идеи гибридной войны в статье Николая Ссорина-Чайкова. Он обращает внимание, что «гибридность в контексте современных войн используется в первую очередь для

описания врага, а не самоописания» (с. 35). Автор скептически оценивает эвристический потенциал понятия, но отмечает важный момент: «гибридность» новых войн делает проблематичным разграничение состояния войны и состояния мира. Ссорин-Чайков переносит это свойство на мир и на основе современных этнографий войны выстраивает концепт *гибридного мира* (с. 37). Это странное и враждебное пространство, номос, результат территориальных и понятийных различий. Он конституируется современными методами ведения войны, здесь война не похожа на войну, мир – на мир, и нет четких границ. Воля конфликтующих сторон реализуется через декларативный отказ от нее путем делегирования военных действий союзникам или частным контрагентам и пользования карательными инфраструктурами чужой территории, где систематически нарушаются гражданские права и не действуют механизмы ответственности (с. 45).



Примеры гибридного мира – военные действия с применением беспилотников на Ближнем Востоке, экстерриториальность гарнизонов и партизанских движений в Центральной и Западной Африке, ризоматические операции Армии обороны



Израиля. Стоит отметить, что одним из источников гибридизации являются инфраструктуры безопасности, ориентированные на будущее и создаваемые в рамках предупреждения, профилактики и предотвращения будущих войн. Гибридный мир, создаваемый в рамках такого менеджмента угроз, – это пространство сосуществования актуальных и потенциальных угроз, где в пределе потенциальным врагом, комбатантом, партизаном может быть неопределенно широкое множество субъектов.

Игорь Чубаров и Юлия Апполонова продолжают размышления о меняющейся природе войн, тематизируя беспилотники в качестве социальных акторов, по-разному входящих в резонанс с разными традициями этики войны. Они обращают внимание на устройство дискурсов, оправдывающих применение дронов: в них, по умолчанию, западному индивидуализму, минимизации потерь, ценности жизни, экономической эффективности, инновационности и избирательности насилия противопоставляется незападная коллективность, этика самопожертвования, пренебрежение жизнью, неизбирательность убийств и расточительство. В этом смысле дрон – своего рода оператор сакрального насилия, концептуальный персонаж, меняющий правила военно-политической игры. В заключение Чубаров и Апполонова обсуждают *этику дронов*, которая могла бы лечь в основу осмысления «новых войн» международным правом (с. 90). Ее проблемное ядро – связь между агентностью дрона и этической ответственностью его оператора.

Насилие в своем многообразии не всегда получает однозначно негативную оценку. В этой связи отправной точкой размышлений должно быть различие двух *диалектически* связанных типов насилия – со стороны обладающих властью и со стороны угнетенных, бесправных и исключенных. Эту диалектику использует в качестве рамки анализа Оксана Тимофеева, ставя вопрос

об обосновании освободительного насилия. Она исследует его историческую генеалогию на материалах Сореля (всеобщая стачка), Батая (сакральное насилие), Бенямина (божественное насилие) и Фанона (борьба за освобождение колоний). Особое внимание Тимофеева уделяет Батаю, у которого появляется сюжет насилия нечеловеческого, важный в контексте проблематики антропоцена.

Хотя идея антропоцена предполагает относительно беспроблемное распространение и даже повсеместность техники, с антропологической точки зрения такие трансферы вовсе не являются квазиуниверсалией. Так, Дэвид Грэбер на материале малагасийской культуры анализирует выявленный Марселем Моссом феномен *отказа* племен от заимствования у соседей практически полезных изобретений и навыков (интересный штрих к исследованию Сивкова) при осведомленности о них и понимании их полезности. Грэбер предполагает, что такой отказ от ценностей соседей – свидетельство политической зрелости – является структурным элементом выстраивания собственной культуры. Скажем, гомеровская Греция сознательно не перенимала ценностей централизованных и бюрократизированных торговых обществ Ближнего Востока. Заимствуя понятие у Грегори Бейтсона, Грэбер называет это *скизмогенезом*: самоопределение от противного, «творческий» отказ и неприятие. Признание конститутивности этого акта позволяет переосмыслить историю человеческих обществ.

Своего рода полемическим ответом на статью Грэбера является рецензия на его книгу «Заря всего. Новая история человечества» Дмитрия Кралечкина. Он обращает внимание на противоречия и недостатки подхода и метапозиции написания *всемирной истории человечества* как жанра и критикует попытку Грэбера разбить популярный нарратив сельскохозяйственной

революции в истории человечества апеллирующей к эмпирическим исключениям и отклонениям, а не предложением другого нарратива. Вдобавок антрополог восстанавливает руссоистский миф своей критической установкой по отношению к власти, в которой власть в конечном счете оказывается виновницей цивилизационного падения.

Нынешний год «*Ab Imperio*» посвятил теме «Становление и упадок государства как института и аналитической категории», соединяющей объектный и методологический аспекты. Ее проблемный узел связан с судьбой национального государства и возможностями, предлагаемыми постнациональными альтернативами. Общемировая тенденция, в разной степени затрагивающая государства, – кризис механизмов современного национального государства. Одновременно нациецентричные, сплывающие общество нарративы демонстрируют успешность в случаях таких интервенционистских и эффективных государств, как Китай и Израиль. Поэтому постнациональные альтернативы, смещающие акцент на права индивидов и множественную лояльность, ставят под вопрос основы современного государства, лишают его самоочевидности и предлагают формы, способные заменить его в будущем. Обсуждению этих реалий «*Ab Imperio*» и посвятит выпуски этого года.

Первый номер (2022. № 1) выстроен вокруг темы «Бесконечная история государственного строительства: кто и как заставлял власть работать». Блок «История», посвященный этой теме, открывает Юсуф Зия Карабичак с кейсом, посвященным внутреннему и международному контексту распада Речи Посполитой. В фокусе внимания – усилия короля Польши Станислава II Августа по укреплению и повышению эффективности государственных институтов и противодействие со стороны местной элиты и внешних сил, особенно Османской империи. При разнице мотивов этого сопро-

тивления и те и другие исходили из одного и того же аргумента защиты древних *свобод* страны от тирании, риторически вписывая ее в рамки борьбы Просвещения за свободу. При этом речь шла о свободе как групповых привилегиях, а не об универсальных правах для всех. В конечном счете, Речь Посполитая не смогла перейти к современному государству, избавившись от сферы частных групповых интересов монарха или знати, и добиться эффективности управления.

Вообще говоря, очищение современных институтов власти от частных интересов всегда происходило с переменным успехом, особенно если речь шла об удаленных местностях. Зачастую в таких случаях государство предпочитало передавать управление частной организации. Хороший пример такого решения раскрывает Роберт Киндлер. Первые два десятилетия после продажи Россией Аляски США (1867) земли по обе стороны северной части Тихого океана управлялись Аляскинской торговой компанией (*Alaska Commercial Company*). Компания была единственной властной инстанцией в этом регионе и эксплуатировала один из самых ценных тогда источников дохода – промысел морских котиков. Киндлер называет такой тип управления *фрагментированным суверенитетом* (с. 170).

Наталья Рыжова на материале истории провала «соевой революции» в СССР в начале 1930-х показывает, что расширение сферы государственного управления вплоть до вытеснения частного необязательно приводит к укреплению власти. Причиной неудавшейся организации массового выращивания сои, несмотря на благоприятность стартовых условий, стала несогласованность чересчур централизованных структур производства знания, экономического планирования и растениеводства. Центры знания (ВАСХНИЛ), не совпадая с центрами власти (Масложирсиндикат), попросту не могли контролировать выращивание сои (с. 220).



Продолжая обсуждение функционирования сталинского государства, Елизавета Хатанзейская обращает внимание на войну как маркер его дееспособности и эффективности. В фокусе ее внимания – период накануне начала Великой Отечественной войны, когда, формально не принимая участия во Второй мировой войне, РККА несла большие потери в ряде военных кампаний (Польский и Бессарабский походы, советско-финляндская война), из-за чего, помимо прочего, начался кадровый голод, обостренный репрессиями: младшие офицеры, не обладая нужными компетенциями, слишком быстро получали более высокие посты (с. 224). На материале архивов Архангельского военного округа Хатанзейская показывает институционализацию сбоя армии, усугубившую ухудшение морально-политического климата накануне 22 июня 1941 года.

Согласно новому Дисциплинарному уставу, принятому в октябре 1940 года для повышения дисциплины и управляемости низового звена (с. 235), офицерам разрешалось безнаказанно применять силу для поддержания дисциплины среди рядовых, при этом сами офицеры были подчинены столь же произвольной власти верхов, так как несли полную ответственность за неисполнение приказов независимо от объективных обстоятельств и препятствий. Фактически были легализовано насилие над рядовыми и безответственность командного состава. В результате функционирование армии как государственного института стало зависеть от сознательности каждого военнослужащего: институциональные отношения подменялись *межличностными*, армия переходила на «ручное управление», а автоматизированные и безличные социальные механизмы контроля, свойственные современному государству, не работали.

Первая же и сопоставимая по объему часть номера «Ab Imperio» посвящена не запланированной когда-то теме, а актуаль-

ной повестке, в частности, проблематической *связи* истории и войны. Ей посвящен большой международный форум в разделе «Методология и теория», который предваряет статья, посвященной истокам современного российского общества. Марк Липовецкий прослеживает эволюцию трикстера советского нонконформизма, бывшего альтернативой советской модернизации, в постсоветского циника в качестве линии генеалогии современного *нормативно цинического* российского общества, в котором с 2011–2012 годов цинизм управляющих со-
впал с цинизмом «безвластных» (с. 33, 38).

«Становясь нормативным, трикстер постепенно (не сразу!) утрачивает все, что делает его трикстером – амбивалентность, трансгрессивность, перформативность, лиминальность. В результате из-под эстетически привлекательной оболочки трикстера проступает его обратная сторона, которая вообще-то всегда присутствовала, только не бросалась в глаза – цинизм. И именно цинизм становится объединяющей позицией и даже своего рода идеологией для всех пришедших к власти постсоветских трикстеров» (с. 34).

Циник использует трикстерские стратегии уже не для подрыва, а для утверждения власти. Без жесткой системы ценностей трикстер теряет освободительный потенциал и становится аморальным:

«Цинизм предлагает не только власти, но и всему обществу фантомную защиту от вопросов морального выбора или моральной ответственности, представляя их как лицемерные и не имеющие отношения к действительности (“все так делают” и т.п.)» (с. 35).

Отсюда имитация институтов и провал механизмов современного государства, являющиеся общемировой тенденцией, но здесь доведенные до крайности. Средство борьбы с цинизмом, по Липовецкому, – статья этическим субъектом без оговорок (с. 45); а на

уровне интеллектуальных дискурсов – деконструкция холистских и потому манипулятивных категорий вроде «народа», «цивилизации», «исторической судьбы», отказ от эссенциализма и бинарного мышления.

Правда, не до конца ясно, почему фигуры трикстера и циника, фактически полагаемые как типичные или по меньшей мере определяющие фигуры общества, не являются эссенциализирующими и холистскими. Это сложная и явно болезненная для историков тема, которую следует поднимать. Неслучайно *деконструкция понятий* – одна из проблем, обсуждаемых форумом как насущные. В центре внимания его авторов – пересмотр исторических нарративов русистики на фоне печального успеха исторических аргументов в обосновании российской агрессии в Украине.

«Должно быть, что-то было не так с глобальной русистикой, если продвигаемая путинским режимом историческая политика не была сразу отмечена как опасная спекуляция с самого начала ее формирования в начале нулевых годов, а обсуждалась как легитимная теория. Поэтому кажется вполне уместным задать ряд вопросов историографии последнего времени» (с. 19).

Рамкой пересмотра нарративов русистики становится, таким образом, ответственность исторической дисциплины.

Одной из точек расхождения между дискуссантами стала оценка *методологического национализма*. Прежде всего объектом критики стало то, что сохранялось в установках историков, несмотря на все прогрессивные оптики вроде исследований исторической памяти или сравнительной истории, а именно: наделение групп – господствующих или угнетенных – стабильными свойствами, сохраняющимися с течением времени. Пресловутый «имперский поворот» в методологии оказался лишь стилистическим поветрием, настолько быстро все

откатилось к нациецентричным нарративам. В рамке национальной истории одна эссенциализированная группа в качестве Иного наделяется негативными свойствами, другая – статусом жертвы, лишенной исторической ответственности.

В дискуссии предлагаются и альтернативы подобному методологическому национализму, эссенциализирующему свои рабочие объекты. Они предполагают, что все несут ответственность за свои действия, но причины, допустившие эти действия, сложны и выходят за пределы одной группы. В таком случае группы ситуативны и динамичны, по-разному проявляют себя в разных ситуациях и не сводятся к воображаемому историком ядру. Спор в этом разделе развернулся, надо сказать, острый, звучат упреки в нечувствительности к связи между эпистемологической и политической позициями.

Попавшие в этот обзор выпуски журналов, помимо прочего, демонстрируют одну тенденцию: по-настоящему кризисное время не только активизирует и тематически заостряет эмпирические исследования, но и *предварительно* ставит методологические вопросы о том, какие подходы и понятия мы используем при осмыслении жизни своих обществ, государств и нечеловеческих соседей и посредников. Вероятно, общий знаменатель достаточно разнообразных исследовательских направлений, обсуждаемых в этих номерах, можно сформулировать так: прочь от априорного приписывания свойств предметам изучения (эссенциализации) и прочь от субстанциализации собственной позиции. Как императивы эти требования далеко не новость для академии, однако ситуация такова, что разнородные инерции в умах исследователей, популярные в обществе дискурсы и сами события беспрестанно обновляют их актуальность.

